

ИВАН ЕВДОКИМОВ

СИВЕРКО



1931 ОГИЗ
МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ

СРЯБОЧНА БИБЛИОТЕКА

№

Народна библиотека
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“



МЕДНЫЙ ДЯДЮШКА

По городу Волоку текла речка Моша. Берега у ней были извилисты: будто пастушья плеть взвилась — и замерла на земле. От реки и Волок избочился весь. Прикорнул он к Моше горстями желтых и белых домишек, пристанями, перевозами, сорока Богородицами-на-Верхнем и Нижнем Долу, Ильями-в-Камень, Трифонами-на-Корешках, Стратилатами-во-Фрязинах.

Зимами его до коньков заносило, засугробливало. Только по одной Царской улице проходил человек и не зачерпывал в валенки. А в осеннюю пору в тумане над мокрым безлюдьем заливался малиновый звон на Владимирской звоннице. Во всякую пору на соборной колокольне качал языком колокол, в три тысячи лудов: от Ивана Грозного подарок городу Волоку. Медный дядюшка раздельно, густо выговаривал:

Певчие... соборные... в кабак... в кабак пошам...

А ему поддакивали из улиц, тупиков, переулков, с площадей мелкотные колоколишки: наставлено было в Волоке церковья, как зерен на лопате. Не для бедного люда был такой трезвон — испокон века кости бедного люда вывозили за околицу, на Горбачевское кладбище. От звона будто медная обшивка была на небе, а звезды — гвозди. От застав заводские гудки вмешивались в колокольную потасовку, путали, глушили благолепие. Суматошливо катилась Моша, пароходы колесными гребнями чесали воду, у парходных пристаней матросы отмывали пот, на плотах частила гармонья, а у бабы красное платье раздувал ветер, как конский хвост.

Стоял Волок на Моше тысячу лет — ровесник Москве — избяной и дряхлый, как старуха, повязанная в стародавние времена клетчатым платком с напуском, вот свалится, рассыплется... а стоял.

Отец ставил Кенку наземь и всл за руку в дом.

— Катись, катись, колесо!

Мальчик вглядывался в отца и бормотал что-то непонятное.

И, будто понимая, отец отвечал:

Да, брат, кавалеристом. говорю, будешь: ноги ровно для седла сделаны! Ша-га-ай, ша-га-ай, малец! На ступеньку — раз, на другую — два. Вот как Кенка-то!

Кенка взвизгивал, заглядывал отцу в лицо и широко заносил на ступеньку кривую, как месяц, ножку.

СОРОКОВОЙ НОМЕР

У Леонтия Ростовского, что в Дюдиковой пустыни, стоял особняк времен Александра Благословенного. Вывески на нем не было, а все знали хозяина: Каменков Чефранов — председатель земской управы.

Тут, вдогонку Кенке, родился сороковой Каменков-

Чефранов — Игорь. Под сороковым номером голубыми чернилами в древней родословной его так и записали. А в кружочке поместили неподалеку мать — урожденную княжну Зубову-Бабушкину.

ОЗОРНИКИ

Удил Кенка пескарей. Горя носил рыбу на веревочке.

Срывался пескарь, Кенка чиркал сквозь зубы и кричал:

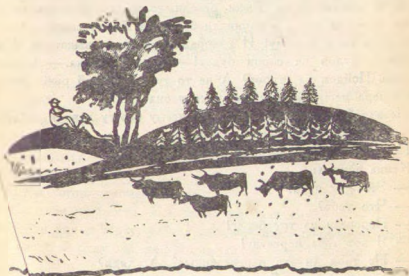
— Не-чи-и-стая сил-ла!

— Ушел? — тянул Горя.



Кенка на соломенный тюфяк — юрк, глаза заметало сном, — и катилась большая-большая сонная река, и тащил Кенка язя, вытащить не мог, удилаще гнулось колесом, леска натягивалась, как телеграфная проволока. Водил-водил Кенка язя, тяжело в руке — трах... обрывался, только взвивалась над головой легкая леска без крючка.

Проснулся Кенка в испарине, вскочил... Светлынь. Пел фабричный гудок — уходили старшие братья на работу, стучали двери, мать провожала сыновей, отец сидел на кровати, прокашливался от махорки.



Кенка с тюфяка — прыг — и на Мошу. До полудня ловил один.

Вон топчется Горя.

— Со-бдя! — встречал Кенка. — А у меня во какой ушел лещ...

И показывал широко руками.

— Забирй рыбу. Айда на другое место!

Горя угощл пирожками.

— Идем, йем: некогда пустяками заниматься! — кричал Кенка и смотрел на пирожок. — Давай впрочем — на ходу съедем!

Набивал за щеки — и вперед. Горя семенил за ним.

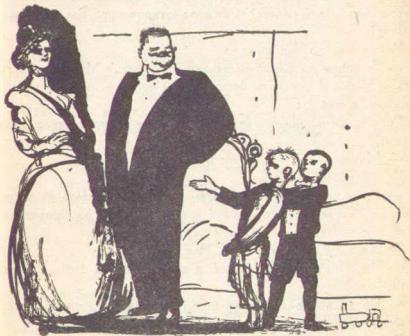
— Хорошо, хорошо. Горя, — сказала мама, — успокойся, мальчик! Мы видим.

Кенка согнулся в три погибели к полу; Горя только успел шепнуть другу:

— Поздоровайся!

Кенка нехотя встал, не глядя подошел к вошедшим и молча подал им руку. Мама и папа засмеялись и не приняли руки. Горя охнул, вытянулся и даже поддержал руку Кенки на весу.

Кенка стоял посреди комнаты, грязный, босой, без пояса, ви-



хры лезли во все стороны, ему было неловко под взглядами старших.

— Игра-а-ете? — начал папа.

Кенка услышал голос и торопливо ответил:

— Глупости все!

Родители переглянулись.

— Вам, молодой человек, не нравятся Горины игрушки? — продолжал папа и брезгливо рааглядывал обветренные ноги Кенки.

Кенка вытаскивал из своего сундучка — в углу стоял — рваные черные карты.

И начиналась игра в свои козыри, в дураки, а то в ослы и акульку, чаще в акульку. Мамкин клетчатый платок повязывали с одной головы на другую. Раззадоривали тятюку. Жульничали. Обыгрывали.

— Мне, ребята, платка не надо. Я так, — просил Кенсарин, — не маленький. Што вы?

Как ни отбивался Кенсарин — надевали. Марья хваталась за живот.

— Ой, ой, — кричала, — помру! Образина ты, образина!



— Го-го! — гоготали старшие сыновья. — Не суйся на старости лет, куда не спрашивают!

А сами подсаживались — раздавали им.

— Тятюка — баба, баба! — визжал Кенка.

Кенсарин и смеялся и сердился.

— А ну вас, ребята, ко всем чертям. Што вы ко мне простили? Чего вам надо от меня? Кто вы такие? Што у вас зорожи? К чорту, к чорту! Я один жалаю итти в кабак!

Тятыка стал вырываться из рук, ребята прилипли к нему, он не мог оттрясти...

— Тятыка, будет, пойдём домой! — взмолился Кенка. — Не ходи: замерзнешь на улице...

— А! — торжественно сказал



тятыка. — За-ме-е-рз-нешь! Пожалел, сукин сын, отпусти! То-то! Кенка, Кенушты у меня парень хороший... отзывчивой. Это я люблю. За это спасибо! Мне кабак — што? Напивать. Домой, так домой! Держи меня, ребята. Уж и сколько же, братцы, водки вылакал сегодня! Лопнуть, братцы, надо! Брюхо у меня, братцы, надулось. Брюхо у меня, братцы, лопнуть хочет, жилетка не пускает. Спать мне, спатеньки, друзья мои милые, оченно, оченно хочется!..

Сдали тятыку мамке — и опять за свое. Горя промерз в сарафане, бежал, заплетался в подолы, устал, но не хотел отстать. Никешка рычал грубым голосом. Кенка звонил в звонки по парадным.

У театра стояли извозчики и господские кучера. Свисали бороды в сосульках, как с крыш. Молотили они рукавицами — хлоп-хлоп. Переступали ногами лошади от холода. Косили глаза на ряженных. Заливались собачонки лаем, норовили схватить ногу.

— И эта шлана дурака валяет! — говорил извозчик.

— Драть некому.

— Пошли, пошли, щемята!

утылках. Карусельный сарафан блестел блесками, золотом и серебром, всякими разноцветами. Заповедное медное кольцо по-зывало краешек, — схватишь на лету — бесплатное катанье. Ребята напряжились к кольцу, раз другой, — мимо, мимо — надо вять черные кольца — дорога к медному кольцу.



Как останавливалась карусель и хозяин шел собирать кольца, жалко было расставаться с медным кольцом, хотелось всему народу показать на вытянутой руке. И показывали.

Вокруг карусели была другая карусель — человечья. — не хотелось девкам и бабам отойти от карусельного удовольствия.

Сбитенщик зазывал почтенную публику отогреться. Самовар, как пароход, чадил столбом. Сбитень шипел, ходил ходуном взаперти за медной самоварной стенкой. На балагане, с белой рожой, прыгал клоун. На голове поднимался рыжий кошачий хвост. Хвалил честной народ клоуна, гоготал на шутки его, подбадривал бородами, бородками, шалками, оскаленной пастью. Петрушка колотил попа по маковке деревянной колотушкой на всю карусельную площадь. В цирке ревели звери.

Лавки, лавчонки, ларцы, палатки отдавали халвой, ситцем, красками, вяземскими пряниками, рогожами, пенькой...

Колокола у Оловянишникова мужики пробовали стречком. Везли шестьюшком на дровнях большой колокол. 'Словно из



летающих стрижей — и спать. Свобода осталась под праздники и по воскресеньем.

Кенка уже был взрослый, возмужал за работой. Недалеко было то время, когда он станет помощником отцу: на то и готовили. Старшие братья жили уже раздельно, переженались. Отец работал все хуже и хуже: часто хворал.

Горе писали письма без подписи гимназистки и епархиалки. Когда он ехал на Султана по городу в новеньком гимназическом пальто, в серых перчатках, выставя маленькую ногу в ботинке, встречные папины знакомые думали:

«Какой стройный юноша!»

Горя был в старших классах; у него была своя библиотека; без стука к нему не входили ни папа, ни мама. Горя имел свои карманные деньги.

По воскресеньям, по старой памяти, Горя иногда заходил к Кенке. Чаще всего он стучал в окно, вызывал Кенку и не входил в квартиру.

Марья высовывалась в окно и говорила.

— Что не заходите-то, Игорюшка, не погнушайтесь!

Горя смеялся.



- Как снегу высыпало! — восторженно шептал Никешка.
- Ничего себе, — отвечал Кенка, — только дождя бы не было: всю музыку испортит.
- Не будет: погода холодная.
- Клей у тебя крепкий?
- Мать делала — она знает.
- В Заречье, поди, ребята кончают расклейку!
- Впятером работают.
- Надо в центр пробраться, Никешка. Хоть бы немного расклеить.
- Опасно. Там живо на городовика нарвешься.
- В случае чего — бежать. Только смотри, в разные стороны уноси ноги. Идем, была не была! Больно уж форсисто выйдет: в самое пекло голос подадим.
- Не сорвать бы дело, Кенка? Не велели зря дразнить фараонов.
- Ничего, сойдет. Не на нос городовому наклеивать будем! Пробрались в центр и наскоро раскидали прокламации, наклеили на двери богатых парадных подъездов по Царской улице, на зеленые ворота лабазов, на афишные щиты... Никешка осмелел и наклеил прокламацию на полицейскую будку.
- Как уходили — тихо смеялись и першептывались.
- У меня, Кенка, как у пекаря, рука залипла от теста.



дывали они с опаской из проходной будки: не стерегут ли товарищи?

Марья жила под наблюдением. Расхаживали сыщики по ту сторону Дегтярки. На маевку Первого мая сошлись в березнячок париковские, ефимкинские, железнодорожные, кожевенники, сви-стуновские, кирпичный завод, мукомолы Вахромкина.

Подергивалось новенькое красное знамя на высоком шесте. Ораторы, приезжие и свои, кричали под знаменем. В лесу, за ветром, были глухи и укромны слова. Стояли, сидели, лежали...

Ораторы настойчиво и однообразно заканчивали одним:

— Долой самодержавие!

И в ответ сотнями голосов взрывалось:

— Долой! Долой! Долой!

И если бы никто не говорил и если бы все молчаливо сидели в ногах у знамени, то и тогда каждый согласно с другим думал бы и чувствовал. Там, за лесом, были те, от кого они прятались, кто должен был когда-то встретиться с ними в последней и неизбежной борьбе. Массовка заканчивалась. Начали расходиться небольшими кучками. И вдруг кто-то где-то крикнул:

— Казаки!

Толпа замерла, обомлела, испуганно сжалась, некоторые побежали, некоторые полезли на деревья... Кенка опомнился и закричал:

— Провокация, товарищи! Успокойтесь! Не поддавайтесь провокации!

Но в это время с разных сторон в лесу затопало, застучало, закричало:

— Товарищи! Товарищи!

На горбыль ворвались бледные и взволнованные рабочие.

— Товарищи! Мы окружены полицией и казаками!

— Товарищи, я пробрался из города! В городе погром. Бьют евреев. Горит народный дом. Горит наша чайная. Горит библиотека. Надо идти в город.

Будто внезапно рвануло вихрем голосов:

— Идем! Идем! Все вместе!

— Прорвем цепи!

— Товарищи, обсудить надо!

— Не время, не время!

— Товарищи!

— Берите знамя!

